# Андрей Авдей

Бабы
Вот и весна. Земля наконец-то избавилась от снежных оков и облегченно вздохнула свежим легким ветерком. Пришла пора запрягать лошадей и выходить в поле - время пахать.
- Навались, бабы!
Одна за плугом и трое в упряжи. Вместо коней, их нет уже давно, еще в сорок первом забрали на фронт. Все для него, все для победы. Лошади, телеги, шитые ночами рукавицы и … мужики.
Сыновья, племянники, внуки, мужья. Остались только дети, глубокие старики. И бабы.
- Навались!
Ноги дрожат от напряжения, пот ручьем, но ничего. Вытянем, мужикам хуже. Здесь не стреляют, не рвут бомбами землю. Здесь пашут, на себе. И ждут.
Каждый день, почтальона. Дядю Мишу.
Их деревушке повезло, немцев остановили каких-то двух сотнях километров.
«Не дошла сюда война», - скажет кто-то. И будет неправ: война была здесь в каждой из двух десятков хат. Много раз. Сначала уходящими на фронт колоннами бравых красноармейцев во главе с молодыми и не очень офицерами. Маршировавшими с песнями и залихватским посвистом.
А потом – бесконечными колоннами отступающих. Шли без песен и улыбок, в грязных гимнастерках, перемотанные окровавленными бинтами. Небольшое деревенское кладбище разрослось. Хоронили умерших: русских и белорусов, казахов и украинцев, татар и поляков, грузин и дагестанцев, разных национальностей, разной веры. Бабы отпевали всех одинаково, как родных.
А по вечерам смотрели на дорогу – ждали почтальона. Смешливую Катьку из соседней деревни. Ждали и боялись. Что несет? Измазанный штампами треугольник или извещение?
И замирали, глядя, как останавливается почтальонша у Михайловны. Как, опустив глаза, протягивает похоронку. Муж.
- Бабы!
Они сбегались к стоящей на коленях подруге и утешали. Как могли.
Почту приносили два раза в неделю. Два вечера надежды и страха. Потом Катька пропала. Ушла на фронт вместе с похоронкой на жениха.
Новым почтальоном стал дядя Миша.
- А ну, еще немножко, потянули, бабоньки вы мои дорогие.
Это бригадир, Иван. Муж Семеновны. Счастливая. Одного дождалась, даст Бог, и сыновей увидит. Ну и что, что без ноги. Зато живой. Да хоть совсем без ног - только бы вернулся.
Так думали многие. И два раза в неделю ждали.

Дядю Мишу. До войны он был председателем колхоза. Вместе с Иваном служили. Выжили под Сталинградом и после госпиталя вместе вернулись домой. Один на костылях, другой – молчит и только изредка улыбается.
Вся деревня знала примету – если дядя Миша поклонился кладбищу – значит, похоронка. И бабы, замерев, ждали. А он, тряся головой, шел. Медленно, глядя прямо перед собой.
На секунду остановился у хаты Светки-учетчицы. За неделю до войны замуж вышла, пожить-то не успела по-человечески и на тебе, - призвали мужа. Застыла девка, но Бог миловал, дядя Миша дальше пошел, а Светка разревелась. Чего реветь? - радуйся, дура.
- Бабы!
Вся деревня бросилась к Михайловне. Погладить по седым волосам, обнять, утешить. Опять похоронка. Сын.
А дядя Миша подошел к хате Ивана. И под вой и причитания они долго стояли, молча глядя друг другу в глаза.
- Меняемся!
Можно стянуть с головы платок и облегченно выдохнуть.
Потом война прошла в третий раз. Обозами с ранеными. Кто-то бредил, кто-то стонал, а кто-то молча смотрел в синее небо.
И метались бабы у подвод, протягивали вареную картошку, куски зачерствевшего хлеба, воду. Может, и их мужиков кто-то напоит, накормит и утешит добрым словом? Раненые улыбались, благодарили, а некоторые оставались в деревне навсегда. Отпетые по церковному обычаю - мусульмане и католики, иудеи и атеисты, православные и неизвестные. Без имен, без фамилий, обгоревшие, изуродованные, без лиц.
Слава Богу, справились, одно поле вспахано и засеяно. Теперь домой.
- Дядя Миша!
Это кричали дети. Бабы высыпали на улицу и, затаив дыхание, смотрели на приближающегося почтальона. Вот он поравнялся с кладбищем. Остановился.
Деревня замерла. Поклонится или нет?
А дядя Миша стоял и смотрел на ровные ряды могил.
Поклонится?
Нет, не кланяется. Стоит. Наконец, словно решившись, он поправил выгоревшую фуражку и отдал честь. А затем повернулся лицом к деревне и низко поклонился.
В этот вечер никто не пришел к Михайловне, получившей похоронку на младшего сына. Выла вся деревня. Девятнадцать извещений.
«Ваш сын…, ваш муж…, ваш отец… пал смертью храбрых…, умер от ран…., пропал без вести».
А дядя Миша стоял, молча глядя в глаза Ивану, и сжимал в руках двадцатое извещение. Сын.
- Навались, бабы!
Одна за плугом и трое в упряжи. Вместо коней. По лицу струится пот и текут слезы, плакать можно, а останавливаться нельзя. Надо пахать. Весной день месяц кормит. А слезы текут.
- Немцы!
Бабы, забыв о плугах, со всех ног бросились в деревню. Бригадир не сказал ни слова. Ничего, земля подождёт. Пусть бегут...
По дороге медленно тянулась колонна пленных. В непривычной серой форме, грязные, оборванные, измученные. Они шли, опустив головы.
На них смотрели. Молча. Кто-то сжимал кулаки, кто-то шептал проклятия, кто-то вытирал слезы.
- Бабы!
Это Михайловна подошла к остановившейся колонне. В руках сверкнул нож. Стоявшая невдалеке молодая вдова, Светка-учетчица, закрыла глаза.
- На, поешь.
Подоспевший Иван замер от неожиданности, глядя, как женщина нарезает тонкими ломтями хлеб и кладет в протянутые руки.
- Бабы!
И заголосила деревня. Заметались вокруг платки. Пленным несли воду, хлеб, картошку.
Солдаты из конвоя пытались оттеснить женщин, да разве справишься? Положено стрелять, но тут же свои…
Молоденький лейтенант, глядя на растерянных конвоиров, выхватил пистолет и крикнул Михайловне:
- Назад, нельзя, буду стрелять!
Она посмотрела ему в глаза и повернулась спиной:
- Возьми, голодный небось.
Последний кусок хлеба лег в чью-то грязную ладонь.
- Данке...
- Конвой! - лейтенант оглянулся.
- Что делать собрался? - спросил подошедший Иван.
- У меня приказ, это ж немцы, да они... нельзя… Что они делают? - сбивчиво начал офицер.
- Это, лейтенант, бабы, - и посмотрев в сторону кладбища, Иван повторил, - наши бабы.